

Евгений Дмитриевич Спасский родился в Киеве в 1900 году. За революционную деятельность его родители были высланы на Кавказ. Жена поступил в Тифлисскую школу живописи, ваяния и зодчества при Петербургской академии художеств.

В тревожные годы революции оказался в Омске и Новосибирске. В Омске был посажен в тюрьму и приговорен белыми к смертной казни — по подозрению в шпионаже. Освобожден в день приведения приговора в исполнение по ходатайству одного офицера, который был на выставке Спасского и понимал, что его осуждение несправедливо.

В конце 1919 года художник приехал к родителям в Самару. Ведет изобразительную работу в Пролеткульте, работает в декоративной мастерской военного округа.

1921 год. Москва. Занятия в студии живописи Леблана, Северова и Бакланова. Артистическое кафе, где собираются люди искусства 20-х годов. Получает предложение работать там художником-оформителем — за завтрак, обед и ужин. Принимает его с радостью... Евгений с увлечением познает все живописные течения того времени: «Был футуристом, кубистом и пуантилистом, импрессионистом и супрематистом. Каждое течение что-то давало и оставляло в душе след. Наконец полный отказ от краски. Только форма в дереве, мраморе. Много было сделано, но все время чувствовалось, что это только ветви одного большого дерева... Все это одна грань многогранной пирамиды. Неумолимо влечет к синтезу и искусства, и жизни. И чувствую, что они должны быть слиты в один грандиозный поток».

Искания в живописи привели к мастерам эпохи Возрождения. «Перед Рафаэлем я преклоняюсь, как перед божеством, у Леонардо я учусь», — говорил Спасский. И, наконец, все увлечения

и обретенное мастерство воплощаются 24-летним художником в полотне «Медитация». Эта картина находится в Третьяковской галерее, но пока ни разу не выставлялась. На цветной вкладке «Огонька» вы видите другую картину с тем же названием, написанную годом раньше (медитация — сосредоточенное размышление, глубокое переживание мысли, образа). Борис Пастернак несколько дней держал эту работу у себя и показывал ее близким людям.

Духовные искания и живописные произведения такого плана не давали денежных доходов, приходилось думать о хлебе насущном. И Евгений Дмитриевич зарабатывает себе на существование оформлением декораций в разных театрах, принимает участие в монументальной росписи московских вокзалов и станций метрополитена, Дома пионеров на Басманной. Работал в цирке клоуном, потом 9 лет проработал помощником режиссера театра имени Вахтангова. После ухода из театра занялся реставрацией церкви, чему посвятил четырнадцать лет жизни. Патриарх Алексий приглашал Спасского преподавать живопись в духовных семинариях Загорска. Но художник отказался, так как о христианстве хотел говорить своим, живописным, языком.

Более 600 работ оставил нам художник. Суть своего творчества он формулировал как призыв к зрителю: «Человек, развивайся духовно, не дай поглотить себя мелким суетным потребностям жизни, и тогда ты станешь не разрушителем, а созидателем земли, тогда ты украсишь собой мир».

Евгений Дмитриевич умер в возрасте 85 лет. Он был знаком с Андреем Белым, Игорем Северяниным, Мариной Цветаевой, Константином Бальмонтом... Сегодня мы публикуем воспоминания художника о его дружбе с Давидом Бурлюком и Велимиром Хлебниковым.

Галина КУРЬЯНОВА

«МЫ БЫЛИ ПОЛНЫ НАДЕЖД...»

ПАЛИТРА

Евгений СПАССКИЙ



Писать и говорить о пережитом всегда и тревожно, и очень грустно. Радость несет только будущее. Тогда, естественно, хочется громко крикнуть: давайте нам только светлое, радостное будущее. Вот почему первые футуристы и называли себя бюджетянами, людьми будущего, растущего, солнечного...

Первое знакомство и первая встреча с бюджетянами произошла у меня весной 1914 года в Тифлисе. Я был в то время еще гимназистом и учеником школы живописи, ваяния и зодчества, полным задора и исканий. Как губка, впитывал в себя все, что встречалось на пути.

И вдруг, как бомба, влетевшая в окно, так появление на центральной улице троих, тогда еще молодых, ярко и оригинально одетых, медленно прогуливающих по городу. — Давид Бурлюка, Василия Каменского и Владимира Маяковского, поразило юношеское воображение. Это те, которые несли свежую струю, радость, смелость и бунтарство в искусство и в жизни. У меня появились новые, необычайные книги и брошюры, ярко иллюстрированные Бурлюками, Велимиром и Давидом: новые слова и новые мысли...

...В кафе поэтов в Настасьинском переулке я встретился и познакомился со многими художниками, поэтами и артистами. Все мы были молоды и полны надежд...

С Давидом Бурлюком, как с художником, собратом по профессии, я подружился больше всего: у нас созрел план летней совместной работы и осенней поездки по восточной России с выставкой картин, докладами о новом искусстве и поэзоконцертами.

Давид Давыдович, или, как он впоследствии просил называть его, Додя, пригласил меня к себе на все лето в татарскую глухую деревню близ Бугуль-

мы, где жила постоянно его семья: жена Мария Никифоровна и два сына.

Бузняк — это большое село с высившейся в центре мечетью и большой базарной площадью. Очень пыльное лето и непроходимое осенью от невероятной грязи, вязкой и скользкой.

Додя снимал отдельный, большой, деревянный дом, крестьянского типа. Дом был добротный, с застекленной галереей и крыльцом во двор. На улицу же выходило два небольших окна большой комнаты-кухни, где стоял наш обеденный стол. Громадная русская печка, в которой пекла хлеб на всю семью его сестра Марианна, атлетического телосложения, страшной силы, как почти все из рода Бурлюков. Она каждую неделю, засучив рукава, с большой легкостью вымешивала целую кадку ржаного, заварного теста и, приготивив печь, длинной лопатой забрасывала туда поднявшиеся лепешки. Хлеб получался удивительно вкусный...

У Доды в снях был завал подрамников и холстов и, кроме того, стоял книжный шкаф, специально отведенный для красок. Он закупал краски глянцами, больше писал мастихином, накладывая толстые, друг на друга, слои красок. В красках он был ненасытным, и после каждого этюда на месте работы оставались десятки пустых тюбиков, но он их собирал и переплавлял в печке — для продажи. И охотно покупали это у него местные жители для лужения медной посуды. Писал он, кроме пейзажей, и портреты и еще осуществил свою мечту в то лето, написал большую картину «Куликовская битва». Когда она ее всю прописал, добавляя в краски мед, повесил на кухне около печки, где было невероятное количество мух. Сравнительно скоро мухи покрыли весь холст, наподобие липкой бумаги, и Додя ходил счастливым около этого холста и говорил: «Вот это будет фактурка». А затем, взяв кисть, прописал все прямо по высохшим мухам. Фактура действительно получилась оригинальная. Так за лето была подготовлена выставка.

Всё, и картины, и необходимый материал, упаков-

вав в ящики, мы тронулись в путь. Но мне надо было по дороге заехать домой, чтобы взять костюм для концертов. Так что я, уехав один, догнал Додю в Омске, где мы пробыли недели две, дав несколько поэзоконцертов в помещении Политехнического института, в котором была открыта и выставка картин.

Бурлюк отличался невероятной энергией. Через час после приезда в город он находил помещение для выставки и концертов. В тот же день давал в местную газету статью о футуризме. Вечером мы развешивали картины, и в 10 часов утра был вернисаж. Причем мы с утра и до 12 часов дня, надев свои пестрые жилеты, гуляли по городу, привлекая тем самым большую толпу народа. Около часа дня мы возвращались на выставку с шумной толпой.

Вход на выставку всегда был бесплатным, но началась бойкая продажа программ и книг. Поднимался страшный шум от недоумения перед футуркартинами, и обычно нас просили и с интересом, а часто и с возмущением дать пояснение картинам. Тогда Додя обращался ко мне и просил сказать несколько слов о новом течении в искусстве и объяснить непонятное. Но, как только я начал говорить, он тотчас появлялся рядом со мной со шляпой в руке и, обходя всех, говорил: «Всякий труд должен быть оплачиваем», и шутя собирал порядочную сумму.

Концерты и выставки проходили очень шумно. К вечернему концерту я на шее Бурлюку рисовал рыбу, а он мне собаку, и, вставив в петлицы деревянные лодки, мы шли на концерт.

После короткого и сочного доклада Додя, а говорить он умел и образно, и остроумно, мы читали нараспев стихи: он — свои, В. Каменского, Маяковского, а я начинал с Северянина, потом — Маяковского «Наш марш», из поэмы «Человек» и «Облако в штанах», Хлебникова «Крылышка золотописмом...».

Слушали все очень внимательно, но реагировали всегда так шумно, что, казалось, зрительный зал начинал колебаться и вот-вот развалится от крика, аплодисментов и свиста. Публика четко делилась на два лагеря — принимающих и возмущенных. Нас почти выносили на руках из зала на улицу.

На выставках, кроме программ и книг, продавались и картины, Бурлюк чуть ли не в каждом городе продавал «портрет моего дяди». Он делал его быстро в гостинице, вклеивая, куски газеты в разорванное углами лицо, имеющее три глаза, два носа и так далее. Сам я относился к исканиям новых форм очень серьезно, и подобное легкомысленное отношение Додя меня немного шокировало. Додя был превосходный администратор и опытный оратор с большим юмором. С ним всегда было легко и просто. Человек удивительной душевной мягкости и большого вселюбящего сердца. Я никогда не видел его сердитым или раздраженным. Он все умел перевести на юмор, на улыбку. Это ему очень помогало и в общественной, и в семейной жизни.

После одного из концертов, собирая и укладывая картины в ящики, он мне сказал, что собирается ехать дальше, в Японию и Америку, и предложил мне все обдумать в трехдневный срок и дать ему ответ, поеду ли я дальше с ним или нет. Я решительно отказался, простился и поехал назад, в Москву.

Картины и рисунки мои он просил оставить, чтобы не оголять выставку, и обещал после продажи выслать мне причитающиеся за них деньги. Я знаю, что он все их продал, так как получил от него из Нью-Йорка письмо, в котором он писал: «Картины Ваши продал, я Ваш должник». Но, к сожалению, он так и остался моим должником...

И опять я ушел в работу, запершись в своей комнате, превращенной в мастерскую, где со стен свешивались занавески и зеркала для изучения законов освещения. Так всю зиму я проработал, питаюсь одной картошкой.

В 1922 году, в декабре месяце, встречаю в Москве Велимира Хлебникова, с которым познакомился еще в 1917 году. Его тоже эти годы не было в Москве. Он любил путешествовать и только что вернулся из Персии. Привез с собою, или, вернее, на себе, пестрые, коврового рисунка штаны, сшитые из шерстяной ткани, которые ему кто-то подарил. Здесь его быстро одели друзья в светлый, серовато-голубого цвета костюм, который по размеру был на два номера больше и поэтому висел на нем, как на вешалке, но он, как мне казалось, чувствовал себя в нем хорошо.

И вот передо мной стоял, с кроткими и небесно-янскими глазами, Велимир. Кто близко знал Хлебникова, не мог не запомнить на всю жизнь его глаз, всегда глядящих в бесконечную даль, живущих не здесь, не этим миром, а где-то там, в необозримых космических пространствах. Иногда он словно пробуждался и смотрел на тебя, но всегда мягким, ласковым и полным любви взглядом. Глядя в эти чистые лазурные глаза, и тебе становилось светло, легко и весело, по-детски все просто и ясно, все трудности и неприятности житейские покидали тебя. Да, забыть эти глаза невозможно...



Е. Д. СПАССКИЙ. 1900—1985.
НАТЮРМОРТ. 1983.

АВТОПОРТРЕТ С ЦИРКУЛЕМ. 1938.

Итак, встретились мы на каком-то вечере во ВХУТЕМАСе. Он очень обрадовался, лицо засветилось ласковой улыбкой. Коротко рассказал о себе, о своих путешествиях. Прощаясь, сказал, что очень хочет повидаться со мной и поговорить, но не здесь, в шумной толпе. Неловко и смущенно сунул мне на прощание руку и пошел, чуть сутулый, большой, осторожный, своей мягкой походкой, словно боясь кого-нибудь толкнуть или обидеть. Он не ходил, а скорее скользил по земле, слегка ее касаясь, весь внимательный, всегда прислушивающийся к чему-то, неся свой внутренний мир. И тут же на вечере, не помню кто, но кто-то из молодых поэтов, видя, что я разговариваю с Хлебниковым, подошел ко мне и сказал, что трудно сейчас бедному Велимиру: живет неустроенный, ночует в коридоре студенческого общежития ВХУТЕМАСа на Мясницкой улице — в доме, в котором жил и я. У меня тотчас появилась мысль предложить ему переехать ко мне, тем более что я жил один, и он, поскольку я знал его, был деликатнейший человек, мне не мог бы помешать работать...

Он очень охотно и с большой радостью принял мое предложение и с поспешностью в тот же вечер переехал в мою квартиру.

У меня была комната с большим итальянским окном. Мебель не очень изысканная, но было все, что необходимо, и ничего лишнего: столик, две табуретки, мольберт и соседское кресло, удобное для размышлений и отдыха, старенький диван, на котором спал я, и напротив поставили железную кровать

с матрасом для Велимира. Единственное богатство мое составлял небольшой кавказский ковер, полученный мной в наследство, которым я и закрыл матрас на кровати, так как одеяла лишнего у меня не было, не было его и у Велимира.

Так началась совместная наша трудовая жизнь. Главное, что обоим было хорошо, и спокойно. Все имущество Велимира составлял белый узелок, с которым под мышкой он и пришел. С большой любовью и осторожностью он его развязал, вынул оттуда чернильницу, ручку и большую пачку неаккуратно, вернее, довольно беспорядочно сложенных листов бумаги — как чистых, так и испещренных мелким, бисерным почерком в разных направлениях. Чернильницу и ручку он пристроил на табуретке, пододвинул ее к своей кровати, а все листки бумаги с поспешностью были брошены под кровать, откуда они извлекались по мере надобности. Причем, как он в этом хаотичном хозяйстве разбирался и находил то, что ему нужно, непонятно.

Работал он быстро, стихийно, нервно и всегда словно прислушиваясь к витающим вокруг него мыс-





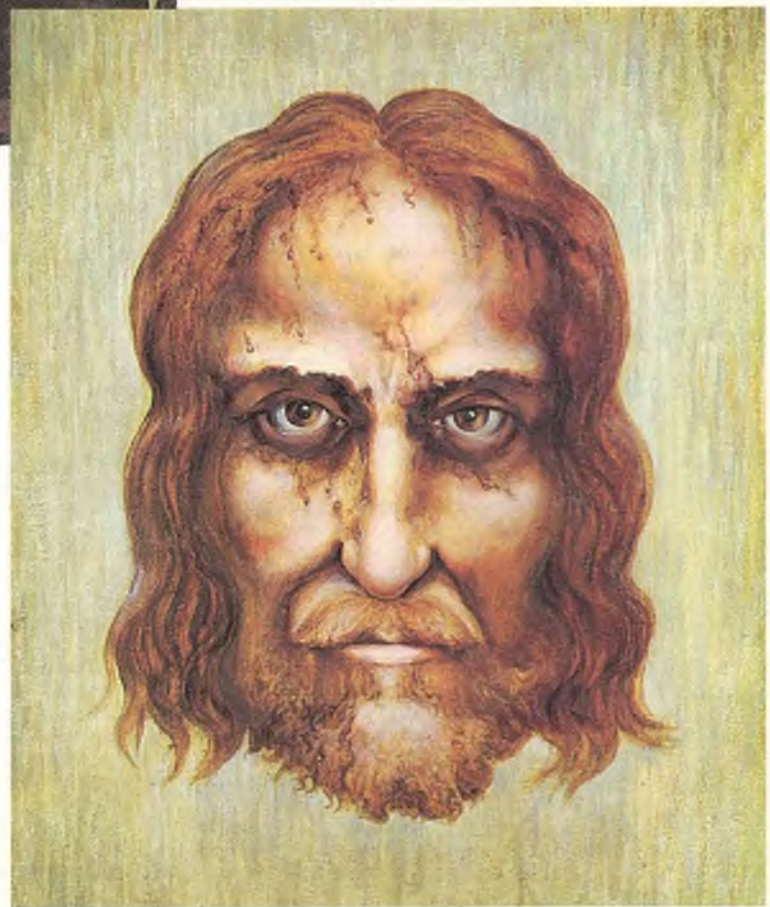
лям и словам. Каждое утро, напившись чаю, устраивались мы по своим углам, я пододвигал мольберт, а Велимир — свой столик с бумагой и чернилами. Он, как всегда, работал порывами: то он быстро и мелко исписывал листик бумаги, потом с такой же быстротой и уверенностью все перечеркивал. Иногда сминал написанное и бросал под кровать. После этого молниеносно ложился, подтянув к себе колени, натягивая шубу, которая лежала тут же, закрывался и затихал, но ненадолго. Минут через 10—15 шуба откидывалась в сторону, он энергично бросался под кровать, и тут начинались поиски. Из-под кровати во все стороны летели исписанные листочки, покрывая, как снег, весь пол. То вдруг он замирал, стоя на коленях или сидя на полу, и внимательно вглядывался в найденную бумажечку. То снова бросал ее в сторону и продолжал искать еще и еще, пока наконец не находил нужное, мучившее его. Тогда поспешно вставал и с ожесточением все остальное забрасывал ногой под кровать. А найденный им листочек бережно расправлял и укладывал перед собой на столике, причем на лице появлялась блаженная улыбка удовлетворения, и по улыбке всегда было видно, что он нашел нужное.

И опять наступала тишина, и — сосредоточенное, внимательное вглядывание через окно в безграничное небо, такое же светлое и ясное, как его глаза.

Бывало и так: в любой час среди ночи он так же стремительно соскакивал, словно боясь потерять пойманное слово. Хватался за ручку и замирал над столом с бумагой. Просиживал, погруженный в свои мысли, 15—20 минут, вновь исчезал под пальто с головой и затихал. В одну из таких ночей я успел

МЕДИТАЦИЯ.
1923.

«СЕ ЧЕЛОВЕК»,
ИЛИ ГОЛОВА ХРИСТА.
1973.



сделать с него набросок, который и находится сейчас в Литературном музее в Москве.

Часто к нам прилетали воробьи или синички и сидели на оконную раму. Это всегда приводило Велимира в неопишуемый восторг. Большие голубые ликующие глаза с детской восторженностью и любовью смотрели на птицу, и невольно вырывались у него какие-то неподражаемые звуки радости и счастья.

Он любил мир, мир растительный и мир животный, любил безгранично, всем своим существом. Он понимал язык мира. Он понимал и читал, как раскрытую книгу, затейливые народные узоры на коврах... Любил и рассказывал смысл каждого завитка, каждого коврового орнамента, рисуя перед собой картину жизни: здесь поле, здесь лес с животными и птицами, а здесь река и рыбы.

Днем мы говорили мало, стараясь не мешать друг другу работать. Вечера часто проводили вместе у кого-нибудь из друзей Велимира — хороших, простых и милых друзей, любящих искусство.

В гостях Велимира почти всегда просили читать свои стихи, и он никогда не отказывался. Читал он своеобразно: скороговоркой, негромко, как бы выстреливая фразами, застенчиво улыбаясь, словно сам конфузился своего собственного голоса.

Он был удивительный бессребреник, и деньги у него долго не задерживались. Как-то, помню, раз он вернулся часов в восемь вечера очень веселый, с полными руками покупок. Выяснилось, что он только что получил какие-то деньги за напечатанные стихи и сейчас же накопил всякого угощения.

Очень молчаливый и скрытный, он ко мне привык и делился со мной всеми своими переживаниями, и хорошими, и грустными. Вспоминаю, как он однажды таинственно вытащил из внутреннего правого кармана пиджака какую-то бумагу, бережно сложенную, и с сияющим лицом показал мне. Это было удостоверение личности, выданное за подписью наркома просвещения А. Луначарского, — с просьбой всем оказывать помощь и содействие поэту В. Хлебникову.

Так жили мы дружно и мирно, но иногда нарушала наш покой его лихорадка, страшная тропическая лихорадка, которую он привез из Персии. Тогда он наваливал на себя все что возможно, но его так трясло, что кровать под ним начинала двигаться. Приступы бывали редки, но сил у него это забирало много...

И несмотря на все трудности, болезнь и подчас недоедание, мы любили жизнь. Это была интересная пора, когда опрокидывались все прежние представления, переоценивались все ценности: футуристы, супрематисты, имажинисты, экспрессионисты и так далее, «все промелькнули перед нами, все побывали тут». И не было конца различным направлениям, но одно было ясно, что начинается новый век, новая жизнь...

Москва, 1966 год